

INSPIRIA

ВРЕМЯ
УРАГАНОВ

ФЕРНАНДА МЕЛЬЧОР

НЕ ЦЕНЗУРНІЙ
ВІДБІВ
18+
СОДЕРЖИТ



INSPIRIA

Фернанда Мельчор

Время ураганов

Серия «Loft. Букеровская коллекция»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65765214

Время ураганов: Эксмо; Москва; 2021

ISBN 978-5-04-155872-7

Аннотация

«Время ураганов» – роман мексиканской писательницы Фернанды Мельчор, попавший в шорт-лист международной Букеровской премии. Страшный, но удивительно настоящий, этот роман начинается с убийства.

Ведьму в маленькой мексиканской деревушке уже давно знали только под этим именем, и когда банда местных мальчишек обнаружило ее тело гниющим на дне канала, это взбаламутило и без того неспокойное население. Через несколько историй разных жителей, так или иначе связанных с убийством Ведьмы, читателю предстоит погрузиться в самую пучину этого пропитанного жестокостью, насилием и болью городка. Фернанда Мельчор создала настоящий поэтический шедевр, читать который без трепета невозможно.

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

1	7
2	9
3	37
4	67
Конец ознакомительного фрагмента.	70



Фернанда Мельчор

Время ураганов

Эрику

*Он тоже по мере сил
Отверг повседневный бред
И снял шутовские цвета,
Когда рождалась на свет
Угрожающая красота¹.
У. Б. Йейтс «Пасха 1916-го»*

*Некоторые события, описанные здесь,
происходили в действительности. Все персонажи
вымышленны.
Хорхе Ибаргуэнгойтия «Покойницы»*

Fernanda Melchor

TEMPORADA DE HURACANES

Copyright © 2017 Fernanda Melchor

Published by arrangement with Michael Gaeb Literary
Agency, Berlin

© Богдановский А., перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Они подошли к каналу через глубокую водомоину, поднимавшуюся от реки: подошли, держа наготове свои пращи-рогатки и щуря глаза, почти обожженные полуденным блеском. Их было пятеро, и только на одном были красные купальные трусы, ярко рдевшие среди иссохших к началу мая приземистых тростников. Четверо прочих были в подштанниках, четверо прочих были в облепленных илом башмаках, четверо прочих несли, время от времени сменяясь, корзину с мелкими камнями, только сегодня утром набранными в реке; четверо прочих были хмуры и злы и до такой степени готовы пожертвовать собой, что даже самый маленький не осмелился бы признаться, что ему страшно, и шел след в след за остальными, крепко держа свою рогатку с уже заложным в кожаное гнездышко камнем, и был готов расколоть голову врагу при малейшем намеке на засаду – закричит ли большая питанга² в ветвях у него за спиной, зашуршит ли резко раздвигаемая листва, зажужжат ли пущенные им в лицо камни, поднимая горячий ветер, рассекая воздух, насыщенный почти невидимыми в белесом небе грифами, грифами и воною, режущей, как брошенная в глаза пригорш-

² Большая питанга (*лат. Pitangus sulphuratus*) – крупная певчая птица семейства тиранновых. Издает звук, похожий на слова «bien-te-veo» (вижу тебя) – отсюда одно из местных названий птицы «вижу-тебя».

ня песка, заставляющая постоянно сплевывать, чтоб не пустить ее в самое нутро, отбивающая всякую охоту двигаться дальше. Но вожак показал на край расщелины, и пятеро поползли на четвереньках по сухой траве, пятеро стали единым телом и, облепленные зелеными мухами, увидели наконец то, что возникло на желтой пенистой воде – сгнившее лицо мертвеца, лежащего в тростниках среди пластиковых пакетов, ветром пригнанных сюда с шоссе, темнокожую маску, кишевшую неисчислимым множеством черных змеек и улыбающуюся.

2

Ее звали Ведьмой, как и мать: сперва, пока старуха лечила и колдовала, – Ведьмой Малой, а когда в год оползня осталась одна, – просто Ведьмой. Если даже и было у нее настоящее имя, вписанное в какую-нибудь бумагу, изъеденную временем и червями, хранящуюся, наверно, в одном из шкафов, битком набитых полиэтиленовыми пакетами, засаленным тряпьем, прядями волос, косточками и объедками, если и впрямь были у нее имя, полученное при крещении, и фамилия, как у всех людей в поселке, то никто не знал ни того, ни другого, и даже те женщины, которые собирались в доме по пятницам, никогда не слышали, чтобы старуха обращалась к ней иначе как – ну, ты, дура безмозглая, или – эй, ты, коза, или – эй, ты, чертово отродье, когда подзывала ее к себе, или велела замолчать, или сидеть тихо под столом и не мешать выслушивать женщин, когда те по пятницам, присаливая слезами, изливали свои тревоги и горести, жалобы и песни, ныли и сетовали, что кто-то из покойной родни приснился или что опять полаялась с родней живой, и – само собой, говорили о деньгах, это уж как водится, но и о мужьях тоже, и о шлюхах с трассы, и что никак в толк не возьму, почему всякий раз, как влюблюсь по-настоящему, меня бросают, выплакивали свои беды и обиды, и зачем все это, стенали они, лучше бы мне помереть,

чтоб никто не знал, что я была на свете, и вытирали глаза краешком покрывала, под которым, выходя со двора Ведьмы, все равно спрячут лицо, потому что еще не хватало, чтобы люди заметили и начали судачить, они ведь так устроены, им только дай, и никто не должен знать, что кто-то навевается к Ведьме, потому что решат, будто месть замышляет, приходила порчу навести на ту тварь, что мужа сманивает, у людей язык без костей, наплетут с три короба, чего и не было никогда, а она ведь приходила-то всего-навсего за средством от несварения желудка у негодного мальчишки, который в одиночку умял кило картошки, или за травяным настоем для бодрости, или за снадобьем от колотья или резей, или, ах, боже мой, да так просто – посидеть на кухне, грусть излить, тоску развеять, избыть боль душевную, а то засела в груди и продохнуть не дает. Потому что Ведьма слушала, Ведьма вроде бы ничему не удивлялась, и, видно, недаром ходили о ней слухи, будто когда-то она убила мужа, не больше и не меньше, как сволочь эту Маноло Конде, из-за денег, конечно, убила, из-за денег, из-за дома, ну и земли, конечно, – сотни гектаров пашни и выпаса, оставленных отцом в наследство, ну то есть землицы, какая осталась после того, как Маноло кусочек за кусочком распродал ее боссу Синдиката, чтобы уж никогда больше не работать, а жить на ренту и прибыль от сделок, которые, правда, всегда проваливались, и так громадна была эта латифундия, что и после смерти дона

Маноло оставался еще здоровенный надел, приносящий немалый доход, а потому двое сыновей его, вполне уже взрослые парни, которых дон Маноло прижил со своей законной супругой в Монтель-Соса, так вот, сыновья эти нагрянули в деревню, чуть только узнали новость: обширный инфаркт, как сказал им врач, и пришли на бдение в дом в зарослях тростника и при всем честном народе сказали Ведьме, чтоб завтра же духу ее не было ни в доме, ни в поселке, и что она, видно, спятила, если думает, будто они допустят, чтоб какой-то шлюхе досталось все отцовское добро: земля и тот самый дом, который столько лет все строился, но до сих пор все никак не мог достроиться, грандиозно-несуразный, как сами мечты дона Маноло, дом с парадной лестницей и балюстрадой, украшенной гипсовыми херувимчиками, с высоченными потолками с гнездами летучих мышей по углам, да, так вот, земля, и дом, и деньги, где-то в доме том припрятанные, а денег тех – многие тысячи, которые дон Маноло некогда унаследовал по смерти своего родителя, а в банк класть не стал, а кроме денег, еще и бриллиантовое кольцо, ну, правда, его никто никогда не видел, никто и никогда, и сыновья тоже, однако ходил слух, будто камень там таких невероятных размеров, что кажется фальшивым, и реликвия эта принадлежала бабке дона Маноло сеньоре Чусите Вильягарбоса де лос Монтерос де Конде и по закону юридическому, а отчасти и божескому, должна перейти к матери его сыновей, венчанной супруге

дона Маноло, законной его жене перед Богом и людьми, ей, а не Ведьме этой, твари подзаборной, гулящей девке, черт знает откуда свалилась она, подлюга, на нашу голову, и убийца к тому же, строит из себя большую барыню, прямо не подступись, какая важная, а на самом деле – попросту потаскуха, которую дон Маноло некогда вывез из какой-то глуши, из сельвы, вывез, чтоб тешить с ней похоть свою и предаваться самому гнусному разврату, скрашивая свое равнинное одиночество. Короче говоря, просто дурная женщина, неведомо как, а скорей всего, как полагали иные, по дьявольскому наущению, прознавшая о свойствах неких трав, росших поблизости, на холме, меж развалин, которые, по мнению властей, некогда были надгробьями тех, кто в стародавние времена жил тут, кто появился тут первым, даже раньше, чем *гачупины*³, потом со своих кораблей увидавших все это и сказавших: чур-чура, теперь это все наше и нашего кастильского государя, а прежние люди, какие уцелели, принуждены были убраться в горы и потеряли при этом все, самые камни, из которых были некогда сложены их храмы, исчезли, оказались погребены у подножия холма во время урагана семьдесят восьмого года, когда случился оползень, и грязевым потоком накрыло больше ста жителей Ла-Матосы, так вот, на этих могилах, говорят, растут травы, из которых Ведьма готовит отвар – не отвар, а отраву,

³ Гачупины – принятое в Мексике обозначение белых людей, родившихся в Испании.

лишенную цвета, вкуса и запаха и не оставляющую никаких следов, почему доктор из Вильи и сказал, что дон Маноло скончался от инфаркта, сыновья же были уверены, что отца их извели этим зельем, а потом люди винили Ведьму и в их гибели тоже, ибо в самый день похорон, когда они возвращались с кладбища во главе траурного кортежа, из кузова грузовика, шедшего перед ними, вылетела и придавила их целая груда стальных болванок; на следующий день эту гору окровавленного железа можно было видеть на фотографиях в газете, и дело вышло просто удивительное, потому что никто не мог объяснить, каким же образом стряслась такая беда и почему эти железяки оказались плохо закреплены, вывалились из кузова, пробили лобовое стекло и прихлопнули братьев, ну, и понятно, что многие, подивившись такой странности, стали винить в несчастье Ведьму, твердить, что это она чарами своими подстроила аварию и, чтоб не потерять ни дом, ни землю, спозналась с дьяволом, который и наделил ее этим колдовским даром, и вот тогда-то, в это самое время, Ведьма и затворилась у себя в дому и больше уж не выходила оттуда никогда, не показывалась на людях ни днем ни ночью, опасаясь, надо думать, мести кого-то из родни Конде, а еще, может, и потому, что прятала что-то в доме и так берегла это, что боялась отойти, оставить без присмотра и сделалась бледная и худая, и страшно было глядеть ей в глаза, горящие безумием, а кормили ее женщины Ла-Матосы: приносили ей

поест за то, что она им помогала, давала разные снадобья, настои и отвары из трав, которые сама же выращивала у себя в огороде или за которыми посылала женщин к подножию холма, когда еще был этот холм. Примерно тогда же люди стали видеть крылатого летучего зверя: он преследовал мужчин, когда те проселочными дорогами возвращались домой, выпускал когти, грозя впиться ими в тело, ухватить и унести по воздуху в преисподнюю, и глаза у этого зверя так и полыхали огнем; тогда же поползли и слухи, будто Ведьма держит где-то у себя в доме, наверно, на верхнем этаже, куда никого никогда не пускает – даже тех, кто приходит навестить ее, – некую статую и якобы взаперти предается с ней блуду, статуя же эта представляет не кого иного, как самого дьявола, наделенного здоровенной снастью – длиной и толщиной с мужскую руку, притом как бы сжатую в кулак, и этой-то необыкновенной елдой Ведьма тешится каждую без изъятия ночь, и потому-то, по ее словам, ни один мужчина ей не надобен, и в самом деле по смерти дона Маноло она мало того, что никого к себе не водила, но и неизменно честила-поносила мужчин, твердя, мол, все они пьяницы и засранцы, псы шелудивые, грязные свиньи, и лучше сдохнуть, чем допустить до себя кого-нибудь из этих вонючих тварей, ну а кто их терпит, суть куры безмозглые, причем глаза у нее при таких речах горели, щеки рдели, волосы вставали дыбом, и обретала она тогда прежнюю свою красу, женщины же только крестились, воображая, как

она в чем мать родила, насадившись на дьяволов дрын по самое некуда, скачет верхом, и по ляжкам у нее стекает дьяволово семя, красное, наподобие лавы, или пенисто-зеленое, как кипящее в котелке на огне зелье, которым Ведьма с ложки поила своих посетительниц во исцеление их тягостей, а то иногда и черное, как гудрон, как огромные зрачки и спутанные волосы некоего существа, что однажды обнаружилось под столом на кухне, где копошилось, крепко вцепившись в подол Ведьминой юбки, не издавало ни звука и выглядело столь хилым, что многие женщины потихоньку молили Господа поскорее его прибрать, прекратить его мучения; да, того самого существа, что сколько-то времени спустя уже сидело всем на удивление нога на ногу у подножия лестницы с книгой на коленях и шевелило губами, беззвучно произнося слова, которые видели ее черные глазищи, и новость эта облетела в считанные часы всю округу, и даже в Вилье стало известно, что дочка Ведьмы выжила, а это случай неслыханный, ибо те уродцы, которых рожают бессловесные твари – козлята о пяти ногах или двухголовые цыплята, – умирают через несколько часов после появления на свет, дочка же Ведьмы – Ведьма Малая, как стали ее звать, девочка, рожденная втайне и в сраме, с каждым днем росла и крепла и вскоре уж справлялась с любым делом, какое поручала ей мать: дров ли наколоть, воды ли из колодца натаскать или даже отправиться на рынок в Вилью, отмахать тринадцать с половиной километров

туда да тринадцать с половиной километров обратно, да не налегке, а с сумками в руках и с ящиком на лямках за спиной, и ни разу не остановиться передохнуть, не говоря уж о том, чтобы свернуть с дороги и поиграть с прочей ребятней, тем более что никто и не решался заговорить с ней, никто даже не потешался над ее свалявшимися курчавыми волосами, над ее лохмотьями, над ее огромными босыми ступнями и над всем обликом этой несуразно долговязой и неуклюжей девочки, нравом бойкой, как парень, а умом превосходившей любого, потому что вскоре стало известно – именно Малая ведет всю домашнюю бухгалтерию и дела с людьми из Синдиката, которые зарились еще и на эти остатки земли и только ждали, когда Ведьма допустит промах или небрежность, чтобы оттяпать их на законных основаниях, благо никаких документов у нее не имелось, как и мужчины, способного вступить за нее, однако же ни того, ни другого не понадобилось, ибо Малая очень скоро выучилась управляться с платежами и счетами, да так поднаторела в денежных вопросах, что однажды ей хватило наглости появиться на кухне и назначить цену за материны консультации, сама же Ведьма, хоть ей в ту пору еще и сорока не сравнялось, выглядела на все шестьдесят, потому что поседела, сморщавилась и одрябла, и забывала порой брать плату за советы и снадобья либо довольствовалась доброхотными даяниями своих посетительниц – кусочком сахара-сырца, фунтом турецкого гороха, кульком уже

подгнивших лимонов, протухшей курочкой – ну, что тут скажешь? Мерзавки, одно слово – и так продолжалось до тех пор, пока Малая не положила конец этому безобразию и, появившись однажды на кухне, грубым своим голосом, непривычным к речам, не сказала, что, мол, вся эта принесенная женщинами чепуха стоимости консультации не покрывает и так дело не пойдет, а потому с сегодня вводятся тарифы соответственно сложности задачи, стоимости материалов, требующихся для ее выполнения, и виду волшбы-ворожбы, нужной для достижения цели, ибо одно дело вылечить, скажем, почечуй и совсем другое – присушить намертво чужого мужа, а устроить так, чтобы явилась покойная мать и сказала, простила ли она родных за то, что при жизни держали ее в забросе и небрежении – вообще третье, правда же? И после этого все пошло иначе, пойти-то пошло, да не пришлось по вкусу многим, и они перестали являться туда по пятницам, а если скверно себя чувствовали, прибегали к услугам сеньора из Палогачо, чьи методы казались более действенными, нежели Ведьмины: к нему приезжали даже из столицы, да все люди непростые, а сплошь телезвезды, футболисты, видные политики, но поскольку цены он заламывал несусветные, а большинству этих женщин и на автобус-то было не наскрести, сказали они Малой, мол, да ты не спятила ли, как же мы теперь будем, но, впрочем, делать нечего, а Малая показала им свои огромные зubiщи и ответила в том смысле, что беспокоиться не надо:

если денег нет, можно оставить что-нибудь в залог или в заклад, как вам больше нравится, вот хоть сережки твои, что ты, помнится, надевала, или цепочку с шеи твоей малютки, или вот прямо сейчас можешь принести горшок тамалес⁴ с бараниной, ну, или кофейник, приемник там, велосипед, короче говоря, все годится, любая утварь, а если просрочите, придется платить проценты, и вскоре Малая стала и деньги в рост давать, под тридцать пять процентов, а то и побольше, и все в деревне заговорили, мол, где это видано, чтобы в столь нежном возрасте девочка была такая хваткая и оборотистая, дело тут нечисто, то есть без нечистого не обошлось, а иначе откуда бы ей взять такие свойства, и немало было тех, кто в пивной говорил, что такой процент – это форменный грабеж, и что хорошо бы уведомить власти о бесчинствах старой клячи и что пусть-де полиция притянет ее к ответу за незаконное предпринимательство, влекущее за собой разорение жителей Ла-Матосы и других населенных пунктов, однако словами дело, разумеется, и ограничилось, потому что еще поди-ка найди, кто ссудит деньги под залог таких жалких пожитков, а кроме того, никто не хотел ссориться с обеими Ведьмами, ибо мать и дочь внушали всем довольно сильный страх. Даже мужчины опасались по ночам проходить мимо их дома, и все знали,

⁴ Тамале – блюдо доиспанской мексиканской кухни: тесто из особым образом обработанной кукурузы с разнообразными начинками, обернутое кукурузными или банановыми листьями и приготовленное на пару.

что оттуда несутся такие вопли и стоны, что на дороге слышно, и одни считали, что это мать и дочь предаются с дьяволом разнузданному блуду, другие же утверждали, что это буйствует Ведьма Старая, которая совсем уже рехнулась, почти никого не узнавала, время от времени впадала в транс, и все были уверены, что это Господь карает ее за прегрешения и разнообразные мерзости, из которых главным было произвести на свет сатанинское отродье, чем Ведьма гордилась, и хотя женщины, набравшись смелости, спрашивали ее, от кого все же у нее Малая, это оставалось так и нераскрытой тайной: дон Маноло-то давно уже отошел в мир иной, и, стало быть, жила она без мужа, из дому не выходила никогда, танцульки-вечеринки не посещала, и сильнее всего мучил женщин один вопрос – уж не кто-то ли из их собственных мужей расстарался сотворить это чудище, и потому женщины покрывались гусиной кожей, когда Ведьма усмехалась неопределенно и говорила, что Малая у нее – от Дьявола, тем паче что девочка была вылитый он, в чем всякий мог убедиться, взглянув на помещенную в соборе Вильи картину, на которой Святой Михаил Архангел повергал нечистого наземь, а особенно похожи были глаза и брови, и женщины крестились, увидев это, а иным даже снилось, как с воздетым ввысь детородным органом гонится за ними сатана, намереваясь заделать им ребеночка, и просыпались они в слезах, с обильно увлажненным межножьем и ноющим низом живота, и бегом

бежали в Вилью исповедаться у падре Касто, а тот бранил их за суеверия, были и те, кто смеялся над этими рассказами и уверял, что Ведьма – просто полоумная, девочку же она в свое время украла из какой-нибудь лачуги, но другие твердили, что Сарахуана когда-то давно рассказывала, как однажды заглянули в ее закусочную какие-то парни явно не из Ла-Матосы и скорей всего даже не из Вильи, потому что говорили не вполне по-здешнему, а когда подвыпили, сказали, что, мол, пришли перепихнуться со старушкой, той самой, что когда-то убила мужа и слыла ведьмой, и Сарахуана тогда наострила уши и услышала, как те забрались к старухе в дом, врезали, чтоб помалкивала и предоставила им себя, потому что ведьма или не ведьма, однако оказалась она все еще очень хороша и в самом, что называется, соку, да и сама в конце концов вошла во вкус, судя по тому, как извивалась и верещала, и, наверно, в этой вонючей дыре все бабы – отъявленные шлюхи, и тут, как исстари повелось, о чем Сарахуане ли было не знать, объявившийся среди посетителей один особо вспыльчивый обиделся, что его родную Ла-Матосу обозвали вонючей дырой, вскипел и набросился на тех парней, а за ним и прочие, и пришлых сильно отдубасили, но все же до мачете дело не дошло, может, потому, что тех сразу сбили с ног, а может, потому что было слишком жарко, чтобы принять это близко к сердцу, да и не перед кем было в тот час показывать удаль, не было в

заведении Сарахуаны женщин – никаких не было, даже тех страхолюдин, что обитают в шалашиках на берегу и дают за бутылку пива, так вот, наличествовали там лишь они сами да хозяйка Сарахуана, которую к тому времени никто за женщину уже не считал, а считали все своим парнем, таким же мужчиной, как они сами – с обязательными усами, с почерневшей рожей, с бутылкой, греющейся в кулаке, когда жужжит под потолком вентилятор, с трудом разгоняя плотную знойную духоту, источаемую их телами, и поет в одиночку магнитофон *что-то кролик мой не-ве-сел* над свечой у образа Святого Мартина Кабальеро, *неужели заболел*, и веточка алоэ, *принесу я свежей травки*, обязанная ленточкой, вымоченной в святой воде, *чтобы он повеселел! да, сеньор, а как иначе?*⁵ и тростниковая водка, потому что надо заклать зависть, объясняла Ведьма, вернуть зло тому, кто его заслуживает, тому, кто его насылает. И потому у нее на кухне на самой середке стола, на блюде с крупной солью всегда лежало красное яблоко, сверху донизу насквозь проткнутое острым тонким ножиком и со вставленной в отверстие белой гвоздикой, и женщины, в пятницу спозаранку приходившие сюда, неизменно видели, что цветок увял, поник и пожелтел, будто стух от тех дурных флюидов, которые они сами же выпускали в этом доме – нечто вроде негативной энергии, накопившейся, как они думали, в их телах от огорчений всякого рода

⁵ Травка для кролика (Zacatito pal conejo) – музыка, популярная в 70-х годах.

и разнообразных обид и неприятностей, а Ведьма умела своими снадобьями избавить их от той энергии, которая густой, хоть и невидимой пеленой висела в спертom воздухе затворенного дома, ибо никто не знал, когда именно начала Ведьма бояться открытых окон, но к тому времени, как Малая уже топотала ножками в полумраке гостиной, куда никому не было доступа, да, так вот, уже к этому времени Ведьма собственноручно заделала все окна палками и проволокой, залила потом цементом и да не только окна, но даже и дубовую почерневшую дверь парадного входа, откуда вынесли когда-то гроб с телом дона Маноло, который потом доставили на кладбище в Вилье, заложила кирпичами и деревянными горбылями, так что открыть ее никто уж не мог и войти в дом можно было только через черный ход – маленькую дверку, ведущую со двора на кухню, а раз уж нельзя было закрыть и ее тоже, потому что нужно же было выпускать Малую, чтоб та воды натаскала, и огород вскопала, и продукты с рынка принесла, то Ведьма приказала забрать дверку решеткой с прутьями толще, чем в тюремной камере, как выразился кузнец, выполнивший этот заказ, да решеткой, запиравшейся на всякий замок размером с мужской кулак, ключ же Ведьма всегда держала при себе, то есть у себя за пазухой, в лифе, на левой груди; и решетчатая дверца эта, когда бы ни приходили женщины, оказывалась чаще всего заперта, и они, не смея стучаться, стояли перед ней в ожидании, а в конце концов дожидались порой того,

что из дому начинали доноситься вопли, крики и проклятия, изрыгаемые Ведьмой, которая, по звукам судя, швыряла мебель то в стену, то об пол, меж тем как Малая – так много лет спустя расскажет она девицам с трассы – пряталась под столом на кухне, сжимала нож и сворачивалась клубочком, как в детстве, когда все думали и надеялись, что она умрет, и даже молились, чтоб прекратились ее страдания да мучения, а не то рано или поздно явится дьявол и потребует ее себе, и земля тогда разверзнется и поглотит обеих Ведм, и полетят они в бездну прямехонько в адское пламя: одна – за то, что обуяна дьяволом, другая – за все злодеяния, совершенные ее волшбой, а именно за то, что извела отравой дона Маноло и наколдовала его сыновьям гибель в автокатастрофе; за то, что лишала мужской силы жителей деревни, обращая их в евнухов, и особенно за то, что извлекала из чрева женщин семя, брошенное туда по супружескому долгу и праву, а потом разводила его в ядовитом зелье, состав которого был ведом ей одной, и продавала тем, кто попросит, рецепт же его она перед смертью передала Малой, а дело было незадолго до оползня семьдесят восьмого года, когда с неистовой злобой хлестнул по берегу ураган, и раскатистые молнии целыми днями полосовали небо, и из разверзшихся хлябей его низвергалась вода, затопляя поля, на корню сгнаивая посевы, губя скотину, от страха перед ветром и громом не сумевшую вовремя покинуть хлева, и даже малых ребят, которых не

успели подхватить на руки, когда холм вдруг отделился от почвы и пополз вниз в грохоте крошащихся скал, в треске с корнем вырванных дубов, и черная грязь, таща за собой все это, разлилась по всему побережью и обратила в кладбище три четверти поселения на глазах, на воспаленных от слез глазах у тех, кто выжил, и потому лишь выжил, что когда ринулся на них поток, успел влезть на высокие ветви манговых деревьев и просидел там в кронах несколько дней, пока не сняли подплывшие на лодках солдаты, как только природный катаклизм двинулся дальше, в горы и над ними рассеялся – засияло солнце из-за свинцовых туч, снова затвердела раскисшая было земля, а промокшие до костей люди, облепленные лишайниками, похожими на крохотные кораллы, толпой, с уцелевшими детьми на руках и выжившей скотиной направились искать себе прибежище в Вильягарбосе, откуда правили ими власти, а те освободили нижние этажи муниципалитета, открыли доступ на церковный двор и даже отменили занятия в школе, чтобы неделями кряду принимать беженцев с их жалобами и пожитками, с их списками погибших и пропавших без вести, в числе которых значились уже и Ведьма и ее одержимая бесами дочка, поскольку ни ту, ни другую никто не видел с самого начала бедствия. Но спустя еще много недель однажды утром Малая появилась на улицах Вильи в черном с ног до головы: черные чулки на поросших черным пушком ногах и блузка с длинным рукавом черная, и юбка,

и туфли на высоком каблуке, и покрывало, приколотое к узлу ее длинных темных волос, – тоже, и вид ее всех поразил, и не враз поймешь, что больше – напугал или рассмешил, потому что уж больно нелепо она выглядела: жара такая, что мозги плавятся, а эта дура вырядилась в глубокий траур, ну, спятила, не иначе, выставила себя на посмешище, вырядилась наподобие тех трансвеститов, которые каждый год появлялись на карнавале в Вилье, однако все это приговаривалось про себя, никто не посмел расхохотаться ей в лицо, потому что многие в минувшие страшные дни потеряли своих близких и, глядя, как она в этом маскарадном костюме Парки величаво и вместе с тем устало шагает в сторону рынка, догадались люди, что Старая Ведьма умерла, исчезла из этого мира и покоится теперь, должно быть, в грязи, накрывшей полдеревни, и что смерть ей досталась скверная, хоть все в глубине души думали, что слишком легко отделалась колдунья за жизнь свою, грешную и корыстную, и ни у кого, даже у женщин, да, у тех самых женщин, что являлись к ней каждую пятницу, даже у них не хватило смелости спросить у облаченной в траур Малой, что же теперь будет с семейным делом, кому перейдет оно, кто отныне будет лечить и колдовать, и должны будут пройти годы, прежде чем люди вновь начнут наведываться в дом меж зарослей тростника, прежде чем Ла-Матоса оживет и заполнится жителями, и на костях погребенных под сдвинувшимся холмом поднимутся новые

лачуги и халупы, приедут новоселы, в большинстве своем – привлеченные прокладкой нового шоссе, которое пересечет Вилью и свяжет ее с портом и с нефтепромыслами, недавно появившимися на севере, где-то у Палогачо, и ради этого возводятся бараки и скромные пансиончики, а со временем возникнут всякого рода закусочные-распивочные и бордели, куда будут заглядывать шоферы, и нефтяники, и торговые агенты, и журналисты, чтобы хоть ненадолго скрасить однообразие магистрали, по обе стороны которой, чередуясь с лугами, километр за километром тянется тростник, магистрали, пересекающей этот край от асфальтовой кромки города до предгорий на западе или до обрывистого берега моря, в этом месте неизменно бурного, – на востоке; кусты и кусты, чахлые заросли, задавленные выюнком, который в сезон дождей разрастался с быстротой непристойной, грозя поглотить дома и посевы, так что обуздывать их напор ударами мачете приходилось людям, согнутым в три погибели на обочинах дороги, на берегах реки, в бороздах пашни: они, крепко упершиеся ногами в горячую землю, были кто слишком занят своим делом, а кто и слишком горд, чтобы замечать печальные взгляды, которые посылала им издали, с проселка, окутанная черным тень, кружившая по уединенным уголкам деревни, бродившая по участкам, где работали юноши, лишь недавно начавшие получать за свою работу жалкие гроши: они все как один – с гладкими, безволосыми телами, с узловатыми

мускулами рук и ног, со впалыми животами, в которых тяжкий труд и жгучее солнце не оставили ни жиринки – после работы гоняют тряпичный мяч на поселковом стадионе, а под вечер несутся сломя голову наперегонки до водопроводной колонки, соревнуясь, кто первым сиганет в реку, кто первым достанет со дна брошенную с берега монету, кто дальше всех плюнет, когда, хохоча и галдя, они усядутся плотным рядком, плечом к плечу на нависающей над теплой рекой ветви, заболтают в едином ритме ногами, заблещут на солнце лоснящимися, будто полированными спинами – темными, как косточка тамаринда, золотисто-карамельными, как дульсе-де-лече⁶ или нежная мякоть спелой саподиллы. С расстояния в несколько метров, притаившись за деревом, смотрела Ведьма на их кожу – то цвета корицы, то красного дерева, то отдающую в палисандр, кожу влажную и яркую, свежую, твердую и упругую, как чуть кисловатый на вкус плод, еще незрелый, и оттого особенно, неотразимо соблазнительный, и это нравилось ей больше всего, и об этом она молила молча, собрав всю силу желания, как в пучок, в пристальную черноту взгляда, обычно занавешенного густыми волосами или прикованного мучительным беспокойством к границам наделов, – в руках неизменные сумки, глаза увлажнились от созерцания этой плоти, такой свежей, напитанной жизненными соками, и даже подняла покрывало, чтобы

⁶ Молочный джем.

лучше чуют и смаковать этот чуть отдающий селитрой запах юных самцов, плывущий в воздухе под легким бризом, который в конце года становится суматошным ветром и ерошит листья тростника, развеивает бахрому на соломенных шляпах и концы красных головных платков, гонит пламя по тростнику, испепеляя засохшие к декабрю кусты, а ко Дню Святых Невинных Младенцев уже доносит запахи карамели и жареного, сопровождает тяжеловесный безостановочный ход последних грузовиков, везущих под неизменно хмурым небом огромные кипы почерневшего тростника на сахарный завод, и мальчишки наконец прячут мачете в ножны, даже не обтерев клинок, и бегут к обочине шоссе, чтобы поскорее пустить по ветру деньги, заработанные в поте лица и напряжении тела, и потом, рассевшись вокруг пластикового стола, потягивают тепловатое пиво, слегка остуженное в дряхлом холодильнике Сарахуаны, который своим тархтением перекрывает музыку, *и вот ты думаешь, ну что же – эта даст*, перебирают события последних недель, *хорошенькая куколка, конечно, даст*⁷, и все единодушно соглашаются, что видели ее, а кто-то даже столкнулся с ней лицом к лицу на дороге, и дружно называют ее не Ведьмой Малой, но просто Ведьмой, и в своем юношеском невежестве то и дело путают ее с матерью и с персонажами страшных сказок, в детстве

⁷ Конечно, даст (Ya saúo) – композиция группы Junior Klan в жанре «мексиканской кумбии».

слышанных от матерей – про Плакальщицу, женщину, которая в приступе ярости убила все свое потомство и за это обречена до скончания века скитаться по свету и оплакивать свое прегрешение, превратившись в жуткое чудовище с мордой вздыбленного мула и лапами волосатого паука; или про Девочку в белом, призрак которой является тебе, если ты не слушался бабушку и удирал вечером из дому озорничать и шkodить, и тут-то, когда меньше всего этого ждешь, догонит тебя Девочка в белом, окликнет по имени, ты обернешься – и прямо на месте помрешь от страха, увидев череп вместо лица, и Ведьма была для них чем-то вроде таких привидений, только поинтересней, потому что она всамделишная, из мяса и костей, и ходит по городскому рынку Вильи, здороваясь с торговцами, не хрень призрачная, о которой свистят бабки, тетki и мамыши, им ведь, кошелкам болтливым, лишь бы заставить человека сидеть дома и не дать ему развлечься, что, нет разве? А так хорошо удрать вечером, поколoбродить, попугать пьяниц, поприставать к девчонкам подoступнее. Только не к Ведьме, к Ведьме – ни за что, говорил один, это же не баба, а упырь, с такой поиграешь – в ящик сыграешь, если захочет высосать у меня кровь, пусть отсос начнет отсюда, залихватски подхватывал другой, недвусмысленно похлопывая себя между ногами, и тут под общий гвалт, и гомон, и отрыжку, и стук ладонями по столу, и хохот, больше похожий на вопль, непременно

в чью-то смышленную голову приходило, что Ведьма, раз уж у ней столько земли и денег в сундуках, и золота в мешках, запросто может позволить себе роскошь платить за то, что доставалось даром и местным девицам, и иным заблудшим овечкам, из тех, что сами напрашивались. Хотя никто толком и не дознался, кто же отважился первым, кто набрался храбрости и в ночь-полночь пришел к жилищу колдуньи, стараясь, чтобы не заметили его у этой решетчатой дверцы черного хода, которая внезапно открылась, явив высоченную и худющую женщину с позванивающей связкой ключей в лунно-бледных, как клешни краба, руках, на миг высунувшихся из-под рукавов ее черной, будто парящей во тьме хламиды. Кухня освещена только мерцанием раскаленных углей, подогревающих чугунок с каким-то варевом, но зато пропитана запахами, на несколько дней въедающимися в волосы мальчишек, из тщеславия или удалства, болезненного интереса или телесного голода решавшихся поладить с этой дрожащей тенью, чтобы потом, как можно скорее сделав свое дело, выскочить на тропинку и через пустырь бегом добежать к шоссе, под надежный и безопасный кров Сарахуаны и отдать за тепловатое пиво деньги, которые перед тем, как отпустить, сунули тебе в карман. А на рожу ее нечего и смотреть, бахвалился потом мальчишка перед теми, кто желал его слушать, да и вообще ничего не надо – терпи, покуда она шарит по тебе руками и губами, а губы тоже вроде тени – то

возникнут, то скроются за шершавой вонючей тряпкой у нее на голове, и Ведьма, когда нужно, приподнимала покрывало, но полностью никогда не снимала, и мальчишки даже до известной степени ей за это благодарны, как благодарны и тому, что все это происходило молча – ни стоны, ни вздоха, ни слова доброго или другого какого, ничто, в общем, не отвлекало тело от тела: только они да немного слюны в туманном мраке кухни или в коридорах, украшенных фотографиями голых женщин с выцарапанными глазами. Когда же Вилью и окрестные поселки по эту сторону реки облетела весть, за что именно Ведьма платит, к ней началось настоящее паломничество: мальчишки и зрелые мужи чуть не на кулаках оспаривали право пройти первым, иные даже и не имели в виду ничего такого, а просто не хотели отставать от других, приезжали в своих фургонах, выволакивали под вопли радио ящики с пивом, заносили их через дверцу на кухню и запирались изнутри, и оттуда гремела музыка, словно на празднике, пугая соседей и особенно тех немногих порядочных женщин, кто еще оставался в деревне, к тому времени уже наводненной неизвестными девицами определенного сорта и неопределенного возраста, слетевшимися бог знает откуда на шелест кредитных билетов, оставляемых на своем пути трубами нефтепровода – накрашены девицы были сильно, а на передок слабы, нравственность их можно было счесть сомнительной, но род занятий сомнений не вызывал, и за совсем недорого

– разве что бутылку пива на эти деньги возьмешь – они позволяли кавалеру в танце руки не только распускать, но и запускать их куда угодно; девицы пухлые и упитанные и, казалось, сочившиеся маслом, поскольку вентиляторы не работали, а на шестом часу празднества уж и не разберешь, что утомительней – битый час ли пытаться поднять павшую духом плоть партнера или притворяться, что слушаешь его рассказы; девицы-ветеранши, танцевавшие, если никто не приглашал, в одиночку, посреди пяточка утоптанной земли, хмельные от кумбии и каньи⁸, замороженные усыпительным ритмом «тумпа-тумпа»; девицы потрепанные и раньше срока вышедшие в тираж, занесенные в эти края бог знает откуда тем самым ветром, что гонял по каналу полиэтиленовые пакеты; женщины, утомленные жизнью, женщины, внезапно осознавшие, что уже не в силах начать все заново ни с кем из знакомых мужчин, и откровенно смеявшиеся, обнаруживая некомплект зубов, при напоминании о прежних иллюзиях; и, наконец, те единственные, кто, вдохновившись слухами и наслушавшись старушечьих сплетен, пока стирали белье у реки или стояли в очереди за бесплатным молоком, набрался смелости и отправился к дому Ведьмы, затерянному среди плантаций, и стучал в дверь до тех пор, пока та не приотворялась, и на пороге не появлялась эта сумасшедшая во вдовьем

⁸ Кумбия – колумбийский танец, в середине XX века вошедший в моду во всех латиноамериканских странах; канья – тростниковая водка.

уборе, и женщины принимались умолять ее, чтоб помогла, наварила для них снадобий, о которых столько толкуют в округе, – того, что накрепко привязывает мужчин и приводит к покорности их всех, и того, что отгоняет мужчин навсегда, и того, что стирает только память о них, и того, что позволяет избыть беду, случившуюся от семени, которое мужчины излили во чрево женское перед тем, как смыться отсюда на своих грузовиках, и еще другого зелья, самого, наверное, крепкого и действенного, способного избавить сердце от ложной прелести самоубийства. Вот им-то и только им одним, короче говоря, Ведьма и оказывала содействие и – как ни странно – не брала за это ни единого песо, и это было похвально с ее стороны, потому что девицы с трассы ели дай бог чтоб раз в день, а у многих не было даже и полотенчика вытереться после очередного клиента, хоть вероятней всего делала она это потому, что девицы с трассы не стыдились, не пряча лица и светя ляжками, являться к ее дому и охрипшими от сигаретного дыма и недосыпа голосами выкликать: Ведьма, Ведьмочка, отвори, коза драная, я опять залетела, влипла выше крыши, до тех пор, пока не появлялась хозяйка в черной своей хламиде и в перекрученном покрывале на голове, которое, однако, не могло при дневном свете, на кухне, где все было вверх дном, и подошвы прилипали к полу, вымазанному запекшейся кровью, не могло скрыть, говорю, запухшие от кровоподтеков веки, корки на разбитых губах, ссадины

на рассеченных бровях, и только этим женщинам порой поверяла Ведьма собственные горести, оттого, наверно, что они могли понять и на собственной шкуре знали, какие же мужики скоты, и даже порой пошучивали на эту тему, смеша Ведьму и заставляя ее позабыть побои и назвать вслух имена тех, кто так с ней обходился, кто вламывался в дом, переворачивал мебель и злобно требовал денег, те сокровища, а именно – золотые монеты и перстень с брильянтом величиной в кулак – которые Ведьма, как уверяет молва, прячет где-то здесь, как ни божилась она, что нет у нее никакого клада и сокровищ тоже нет, а живет она на ренту с оставшихся еще у нее кусочков земли вокруг дома, и на кусочках этих Синдикат выращивает тростник, а живет она скудно и трудно, по-вдовьи живет, в запущенном доме, заваленном разным хламом и полусгнившими картонными коробками и мешками с мусором – бумагой, тряпьем, пыльными перхотными выческами, порожними пластиковыми бутылками, всем этим дерьмом, которое пинали и топтали прищельцы в своем стремлении открыть двери в спальню на втором этаже, запертую изнутри давным-давно, еще с тех пор, как Старуха в очередном припадке безумия сдвинула к двери всю мебель, а дверь-то была из цельного дуба, и потребовались совокупный вес, включая и сто тридцать килограммов команданте Ригорито, и усилия семи человек в форме, представлявших в Вильягарбосе органы правопорядка,

чтобы она наконец подалась и уступила, и произошло это в тот самый день, когда труп бедной Ведьмы всплыл в ирригационном канале сахарного завода. Жуткое зрелище, толковали люди, потому что, когда мальчишки обнаружили тело, оно уж было все раздутое, и глаза вытекли, и лицо хищники объели так, что казалось, будто несчастная безумица улыбается, жуть, одним словом, да не то, мать его так, слово, а ведь была она в сущности хорошая женщина, добрая, людям помогала, денег за помощь не брала и ничего не просила взамен, разве что чуточку общения, и по этой вот причине все девицы с трассы и кое-кто из работавших в забегаловках Вильи подхватились и стали собирать деньги, чтобы по-людски, с миром упокоить бедные сгнившие останки Ведьмы, однако местные мерзавцы-чиновники, которых, как водится, развелось у нас до известной матери, по бездушию своему отказывались выдавать тело, во-первых, потому якобы, что это вещественное доказательство преступления, а следствие еще не окончено, а во-вторых, без документов, доказывающих родство с покойной, они, мать их так, не имеют права дать положительный ответ, хотя какие тут могут быть документы, если ни одна душа в Вилье не знала даже, как по-настоящему и зовут-то бедную женщину, а сама она не желала открыть свое истинное имя, отговариваясь тем, что и нету у нее имени, что даже родная мать звала ее не иначе как сучкой, тварью, чертовой куклой, дьяволовым отродьем, прибавляя, мол, жалко, не задушила

ее в колыбели, не утопила в реке, сволочь такую, и по здравом размышлении скажем так: после всего, что с ней сделали эти гады, имелись у нее основания похоронить себя заживо; бедная Ведьма, бедная умалишенная, и дай бог, чтобы по крайней мере отловили тех шакалов, сколько уж их там было, которые перегрызли ей горло.

3

В тот день Есения ушла на реку очень рано и увидела его уже на обратном пути. Прижимая к груди закопченную жестянку из-под бензина, он шел, пошатываясь, по тропинке, босой и по пояс голый, колени разбиты – наверно, по дороге споткнулся и упал. И явно был пьян или под наркотой, потому что не только осмелился подойти к ней, но у него еще и хватило нахальства спросить, хороша ль, мол, водичка, а Есения, не удостоив его взглядом, оскорбленная в лучших чувствах тем, что двоюродный брат обратился с ней, будто ничего между ними и не было, словно не они уже три года как перестали разговаривать друг с другом, сказала как отрезала, что вода – чистенькая, а потом повернулась к нему спиной и зашагала домой, размышляя о том, что должна была бы сказать этому пакостнику, напомнить ему, сколько бед случилось из-за его распущенности, сколько горя он принес семье, сколько несчастий, ну, вспомнить для начала, что бабушка заболела: сперва от расстройства и ярости ее наполовину парализовало – вот эту сторону, – а через год упала и получила перелом бедра, от которого до сих не оправилась, да, видать по всему, и никогда не оправится, потому что тает на глазах, стала вся прямо прозрачная, хоть и не потеряла покуда вечной своей въедливости и

продолжала сверлить Есенин мозги насчет этого сопляка, и все допытываться, когда же он явится повидаться, почему не захотел представить ей свою избранницу. Одному богу известно, как она узнала эту сплетню – а ведь когда надо, прикидывается глухой, – а тут вот услышала, как кумушки толкуют, что парень подцепил девчонку не из местных, привел ее жить в лачугу, выстроенную за домом его паскудной мамы, вот бабка и зудит день и ночь, не давая Есенин покоя, пристаёт с расспросами – да кто же эта счастливица, да как они сошлись, да уж не в положении ли она? Да хозяйственная ли? Да умеет ли стряпать и стирать? Словом, до всего ей было дело, и непременно надо было, чтоб Есения все выложила без утайки, будто и не она годами с ним, с сучонком этим, не разговаривала, после того как накрыла его за непотребным, и он, трус такой, предпочел смыться из дому навсегда, нежели выслушать от Есенин всю правду да еще в присутствии бабки, чтобы та уразумела наконец, какого сорта фрукт ее внучек, слизняк трусливый, хуже бабы, жулик и враль, который даже «спасибо» не сказал ни разу за все, что старуха делала для него, за все, что пришлось ей вынести и стерпеть, и если бы не она, подход бы он давно, потому что шлюха, родившая его, не заботилась о нем нисколько, рос он в полном забросе, вечно голодный, запаршивевший, и ничего, кроме побоев, не получал, а эта, с позволения сказать, мамаша нескучно проводила время, обслуживая водителей на трассе. Такая

злоба охватывала Есению, когда она вспоминала об этом обо всем, что даже под ложечкой начинало ныть каждый раз, как думала о неблагодарном подонке и о том, какого дурака сваяла бабка, согласившись принять на воспитание мальчика дядюшки Маурилио, хоть и знала прекрасно, что на бабе, с которой тот жил, пробы негде ставить, подол задерет перед любым и каждым: лишь бы только заплатил. Ты что же – не видела, что ли, что малец не похож совсем на Маурилио? – сказала ей тетушка Бальби, узнав, что бабка приняла на себя заботы о ребенке. Ты разве не заметила, что он – не нашей породы? – сказала ей Негра, мать Есении, когда пришла однажды домой и увидела, что бабка держит на руках и тетешкает замурзанного мальчишку. Не то мне странно, что Маурилио и его потаскуха тебя обдурили, нет, я дивлюсь, как это ты при том, что все всегда видела в черном свете, вечно ожидала от нас самого худшего и во всех грехах нас подозревала, тут не вспомнила поговорку «Дети моих дочерей – мои внуки, а про детей моих сыновей мамашу ихнюю спроси». Однако убедить ее не удалось, сколько ни твердили ей, что зря она приняла мальчика как своего, что Маурилио, ясное дело, ему не отец, а потому лучше всего снести его в приют – она ни в какую, уперлась – не сдвинешь, и переубедить ее – превыше сил человеческих. Как же это донья Тина бросит на произвол судьбы бедного ребенка, единственного своего внука, сына обожаемого Маурилио, который не может сам заботиться о нем, потому что, бедняга,

очень уж слаб здоровьем! Да у нее язык не повернется отказать Маурилио, единственному, кто ради нее бросил школу, когда они переехали в Ла-Матосу, чтобы помогать ей содержать их гостиничку, тогда как вы, доченьки мои, обе-две, пошли по кривой дорожке, в проститутки пошли, обслуживать дальнобойщиков и работяг с сахарного завода. Иногда для разнообразия или когда была особенно не в духе, бабка припоминала и прочие их грехи, а поскольку Маурилио всегда был ее баловнем, любила повторять, что он принес себя в жертву ради того, чтобы дело не захирело, хотя это была чистая брехня, которую она самой себе твердила, внушая себе, что Маурилио любит ее, хотя в свое время этот остолоп и лоботряс бросил школу, поскольку любил только скандалы да драки и не вылезал из придорожных кафе, где целыми днями распевал песни под гитару – ее какой-то пьянчуга в свое время за неимением денег оставил в гостинице в залог, да так за ней и не вернулся – хотя играть Маурилио никто не учил: сам выучился, пока дергал за струны и прислушивался к извлекаемым звукам, присев в одиночестве под оливой во дворе, а еще наблюдая за молодыми музыкантами на городском празднике, вот и выучил мало-помалу несколько песен и даже принялся сочинять сам, выпевая под незамысловатую мелодию похабные куплеты, а потом явился к бабке и говорит, мол, донья Тина, он всегда к ней так обращался, ни матерью, ни мамочкой никогда не называл, только донья

Тина, никак иначе, ну и вот, значит, сказал ей, так и так, донья Тина, я теперь музыкант, буду работать на трассе, не скучай и не жди, как заработаю сколько-нибудь – с тобой поделюсь, такой вот он был упорный малый, умел своего добиваться во что бы то ни стало, и стал играть по кафе и закусочным, и принимали его хорошо, потому что он был еще, в общем, совсем молоденький, и пьяным нравилось, что такой молокосос в сомбреро услаждает им слух, тем паче что к этому времени вошла в моду музыка с Севера, и это тоже всем приходилось по вкусу, потому что и Маурилио больше всего любил исполнять корридо⁹, и даже одеваться стал, как принято на Севере, и во всем подражал тамошним ухваткам, он и на всех фотографиях стоит в джинсах, в остроносых сапогах, в сомбреро, надвинутом на самые брови, в одной руке – бутылка пива, во рту – сигаретка, а вокруг – бабы. Говорили, что молодящиеся дамы к нему так липли, не столько из-за музыки его, сколько из-за бесшабашной-лихой манеры, а он и вправду был настоящий оторва, и по этой причине ни в один ансамбль его не брали, а сам он не больно-то зарабатывал своим искусством: еле сводил концы с концами, так что никаких денег бабке посылать не мог, скорее даже наоборот – по-прежнему был он ей обузой, а она ему помогала, одалживала денег, которые эта скотина никогда не возвращал, да вдобавок без конца должна была лечить его,

⁹ Корридо – романс повествовательного характера; баллада.

когда ему разбивали морду в бесчисленных пьяных драках, и даже в течение нескольких лет каждое божье воскресенье навещать его в тюрьме Пуэрто, куда он попал, когда по неизбежному своему злосчастью убил одного сеньора из Матакокуите – убил из-за какой-то замужней лоханки, за которой вздумал, кобелина, ухлестывать. Лоханка не выдержала трепки, заданной ей ревнивым супругом, и все выболтала, Маурилио же несколько дней пил без просыпу, пока ему не сообщили, что в Вилье какой-то тип справлялся о нем, намереваясь переломать ему все кости за шашни с женой, и тогда Маурилио оторвался наконец от стола и высказался в том смысле, что лучше уж пусть плачут в твоём доме, чем в моём, оставил в надёжных руках свою гитару и отправился в Вилью навстречу судьбе, а та оказалась к нему столь благосклонна, что старого рогача он встретил в туалете какого-то заведения, когда тот справлял малую нужду, и, не дав ему объясниться, достал из-за голенища неразлучную наваху и несколько раз ударил в спину, после чего очутился в тюрьме города Пуэрто по обвинению в предумышленном убийстве, обошедшемуся ему в девять лет заключения, и все эти девять лет донья Тина неукоснительно каждое воскресенье приезжала к нему в тюрьму, привозила ему «Рейли»¹⁰, и толику денег, и мыла, и кое-какой

¹⁰ «Рейли» – марка дорогих сигарет, названная в честь Уолтера Рейли (1554–1618) – приближённого английской королевы Елизаветы I, авантюриста, корсара и поэта.

снеси, таща все это из Вильи в одиночку, потому что не хотела брать с собой ни Есению, ни других внучек, чтобы заключенные не кричали бы им всякую похабщину, а поскольку боялась сесть не на тот трамвай, то от автостанции до тюрьмы шла через весь Пуэрто пешком на свидание со своим сыночком, любимым и единственным, которого Господь ей сперва даровал, а потом вскоре и отнял, в расцвете, можно сказать, лет – и года еще не минуло, как Маурилио вышел из тюрьмы, где завелась в нем какая-то хвороба, стала грызть ему нутро, а бабушка говорила сперва, мол, ничего серьезного, просто он долго просидел взаперти, вот и сделался таким слабеньким и бледным, а тут еще потаскуха, с которой он давно жил, бросила его, к другому ушла. Негра и Бальби были уверены, что у брата СПИД, и не позволяли детям подходить к нему близко, чтоб не заразил их этой гадостью, а вскоре и бабка уже не могла отрицать, что Маурилио умирает, и в отчаянной попытке спасти сына решила поместить его в самый дорогой санаторий Вильи, выстроенный в свое время для нефтяников, а чтобы платить за лечение, волей-неволей пришлось ей продать гостиничку да участок земли у трассы, и дочери, узнав о ее намерении, подняли крик до небес, стали рвать на себе волосы, мол, как же это так – лишить их единственного достояния, а ведь они годами тащили этот воз, и чем же они теперь станут жить, тем паче что Маурилио все равно уж не помочь, все врачи признали

случай безнадежным, так что лучше бы уже оформлять бумаги для похорон, и чуть только произнесли они эти слова, бабка просто взбесилась, обозвала их ядовитыми гарпиями, осатаневшими от алчности, напомнила, что гостиница принадлежит ей, ей одной, это ее безраздельная собственность, а если им не нравится замысел продать ее, они могут отправляться напрямиком в задницу, где самое место таким завистливым, злобным, себялюбивым гадюкам, и как, мол, язык у них повернулся сказать, что Маурилио не выживет, а он с божьей помощью, господним призрением проживет еще очень долго, увидит, как растет его сын, и других заведет, а дочери, Негра и Бальби, отвечали на это так – тебя саму в задницу с гостиницей твоей злодолбучей и с сыночком твоим полудохлым, а мы уйдем и не вернемся никогда, и ты нас больше не увидишь, ни нас, ни внучек своих. И похватали было свои пожитки и детей, однако бабка догнала их в дверях, вопя благим матом, что, мол, вы обе, видно, спятили окончательно, если думаете, что я вам позволю забрать внучек, уж не за тем ли, чтобы вырастить из них таких же потаскух, как вы сами, а иначе зачем еще? И что Негра и Бальби вольны катиться на все четыре стороны, скатертью, мол, дорога, но внучки останутся с ней, и, сколько ни кричали дочери, как ни брыкались они, бабка не сдалась, и пришлось им отправляться на север одним – на север, где, говорят, много работы на нефтепромыслах, в общем, ушли они и не вернулись в Ла-Матосу, даже когда Маурилио

протянул наконец ноги, да и хорошо, что не вернулись, а то обрыдались бы, увидев, как бабка швыряет деньги, которых у нее нет, чтобы устроить сыну достойные похороны, каких уж много лет не видано было в поселке, похороны, где всех присутствующих угощали тамалес с бараниной, где играли «нортеньо» и «марьячи», где тростниковая водка шла ящик за ящиком и наливали каждому, чтобы все накушались ею досыта и скорбели по Маурилио всем сердцем, и мало того – заказала любимому сыночку надгробье, больше похожее на часовню, да притом еще поставила ее на центральной, самой главной аллее городского кладбища, ибо разве может донья Тина схоронить свет очей своих на дешевом участке, так ведь? где каждые десять лет одних выкапывают, других кладут, а ей-то почем знать, проживет ли она еще десять лет, и если нет – что тогда станется с бедным прахом Маурилио? И вот, чтоб не свалили его в братскую могилу по вине этих змей подколодных, которых она считала дочками, решила она выкупить место на вечные времена, и немислимых денег, дороже, чем дом в Ла-Матосе, стоило право покоиться бок о бок с косточками основателей поселка – Вильягарбоса, Конде и их кузенами Авенданьо, и вот прямо рядом с их импозантными изящными склепами, отделанными мрамором и цветными изразцами-азулежу, появилось крашенное в канареечно-желтый цвет надгробье прощельги Маурилио Камарго. Бабушка несколько лет расплачивалась за панихиду с поминками и за могилку,

зарабатывая тем, что ездила на трехколеске продавать соки на автозаправке у въезда в Вилью. Даже когда заболела, все равно должна была на рассвете крутить педали, отправляясь на рынок, загружая кузов мешками с апельсинами, морковью, свеклой, мандаринами и манго по сезону, покуда Есения дома присматривала за младшими сестричками и малышом, который потом, когда вырос, стал тем самым несчастным бедолагой, кто сделал жизнь ее невыносимой: Есении-то, как самой старшей, приходилось в бабкино отсутствие брать на себя все бремя забот о двоюродных сестрах и брате, а потому и доставалось ей сильнее всего, если что-то шло не так, как хотелось бабке, и отвечать приходилось за шалости и шкоды кузена, когда соседки жаловались, что негодный сорванец спер из лавки бутылку лимонада, что забрался к кому-то в дом и начисто подмел там все съестное, какое нашел, или вынес какие-то вещи или прикарманил деньги, и что подкарауливал и бил детей помладше, что взбрело ему однажды в голову поиграть со спичками, так что чуть не спалил он у Гверасов птичник с курами и прочей живностью, и в результате Есения без конца должна была за него краснеть и извиняться, за ущерб – платить, а вдобавок еще сдерживаться, видя, что бабка никогда не наказывает шкодника за проказы, учиненные в ее отсутствие, а выслушав длинный перечень прегрешений своего внука, всегда отвечает что-то вроде «да ладно, он же не со зла, дети вечно озоруют, на то они и дети, оставь уж его

в покое, его отец тоже рос таким, а парень весь в него, парень – вылитый Маурилио», говорила бабка и говорила, между прочим, неправду, однако ей нравилось прикидываться душой и твердить, что сын – ну, копия отца, и похожи они как две капли воды, хотя на самом деле общего меж ними была лишь врожденная порочность и тупость, а еще – что оба ластились к бабке, ластились и подольщались, и, растаяв, она в конце концов уступала и позволяла им делать что заблагорассудится, и мальчуган рос-рос да и вырос в дикого зверя, а известно ведь, что как волка ни корми, вот он и сбегал из дому порой даже в ночь-полночь, потому что бабка считала, что именно так и следует воспитывать будущего мужчину, который должен ничего не бояться, однако опять же это Есении приходилось ловить его, чтобы умыть, зашивать разодранную одежонку, выводить блох и клещей, подцепленных в горах, тащить его каждое утро в школу, давая затрещины и подзатыльники для вразумления, но, ясное дело, так, чтоб бабка не видела, только наедине, в те частые минуты, когда лопалось ее терпение, надоедало орать на него, и она хватала его за волосы, осыпала его хилое тельце пинками и тычками, а бывало, что и об стенку могла шибануть, перебарывая желание по той стенке его размазать, чтобы несносный мальчишка перестал наконец терзать ее и мучить, дразнить и изводить и называть ее прозвищем, полученным в детстве от бабки и ненавистным ей до дрожи, однако приклеившимся к ней намертво, не

отдерешь, до того крепко, что вся деревня знала ее как Ящерку, благо была она уродливая, чернявая и тощая – ни дать ни взять ящерица-*тетерете*, только на двух ногах. Ящерка, ящерка, распевал этот сопляк на потеху людям, а те слушали его и смеялись, и что же было Есении делать, как не разбить ему рожу в кровь, чтоб заткнулся, придурок, или не ущипнуть его за что придется и злобно наслаждаться, чувствуя, как впиваются ногти в плоть мальчишки, и чувствовала облегчение, схожее с тем, какое получала, до крови расчесав комариный укус, да и мальчишка, похоже, тоже, потому что после взбучки он и сам успокаивался, и даже оставлял ее в покое, но стоило лишь бабке заметить у него царапины и синяки – за каждую Есения огребала вдвое: бабка стегала ее мокрой веревкой по заднице или по спине, порой даже и по лицу попадало, если, разиня, не успеешь заслониться ладонями, и стегала до тех пор, пока Есения не начинала скулить и молить, чтоб прекратила, чтоб простила, а иногда доставалось заодно и Пышке, и Крошке¹¹, и даже Колоде, хоть та всегда вела себя примерно, лучше всех, никогда не осмеливалась перечить бабушке, а сопляк этот стоял и смотрел, как та их хлещет и честит на все корки нахлебницами, дармоедками, от которых никакого проку, тварями и кричит, мол, хоть бы ваши шлюхи-матери забрали вас от меня наконец или вывели бы на панель, чтобы

¹¹ Имеется в виду «Крошка» Пебблс Флинтстоун из американского мультипликационного сериала «Флинтстоуны».

вы в колонии попали, пусть вас там лесбиянки изнасилуют палкой от швабы, мокрощелок, мразей, да, так вопила она, и несла порой полную околесицу, и понятно было, что она путает Есению с Негрой, а Крошку – с Бальби, и бранит их за то, в чем они ни сном ни духом, уверяет, что они по ночам норовят улизнуть из дому, чтобы запрыгнуть в машины к мужчинам – и все это из-за Пышки, будь она неладна, которая, как исполнилось ей пятнадцать, в самом деле начала потихоньку уматывать на танцульки в Матакокуйте в компании самой младшей из дочек Гверасов, а деньги на автобус и на входной билет она, дура жирная, тырила из бабкиного кошелька, до того невтерпеж ей было завести себе парня, и продолжалось это, пока бабка, однажды обнаружив, что Пышки в отличие от всех остальных в кровати нет, подняла нас, хлеща по чему попало, и отправила искать мерзавку по всей деревне и, не дай вам бог, мол, вернуться без нее, и мы волей-неволей пошли по Ла-Матосе из дома в дом, переполошив собак, будя людей, которые назавтра наверняка станут говорить, что Пышка в эту ночь простилась с девичеством, и уже очень скоро Есении пришлось чуть не на себе тащить Колоду и пинками подгонять Крошку, потому что та в силу нежного возраста очень хотела спать и хныкала, и так вот они проваландались до двух пополудни, Пышку нигде не отыскали, домой идти побоялись и забрели во двор Гверасов, благо тамошние собаки знали их и кусать не стали, и каково же было их удивление, когда в

курытнике, куда они направились, обнаружилась проклятая Пышка, которая, узнав, что бабушка в ярости и отправила сестер искать ее по всей деревне, тоже решила спрятаться тут. Есенин пришлось выволочь ее оттуда за волосы, и поднявшийся тарарам разбудил в конце концов донью Пили, мать семейства Гверасов, и та предложила сопровождать их к бабушке, якобы за тем, чтобы успокоить ее, а на самом деле – чтобы приготовить и подать с пылу, с жару свеженькую сплетню, старая драная тихоня, а бабушка, увидав перед собой не только плачущую Пышку, но и соседку, всего лишь покачала разочарованно головой и велела девочкам ложиться спать, а те лечь-то легли, но глаз не сомкнули, в тревоге ожидая, когда ворвется бабка и задаст всем жару – им ли было не знать, что она ничего никому так просто не спускает, хоть и может иногда притвориться, будто все забыто, а потом, застав врасплох, наброситься и сизалевой веревкой охаживать внушек, когда те уже улеглись и вот-вот уснут или оканчивают мытье, и в точности это произошло с Пышкой два дня спустя. Помнишь, толстуха? Ты распевала в ванной, а она тебя схватила, голую и всю мокрую, сперва задала тебе трепку, а потом сказала, мол, с завтрашнего дня про школу забудь, поедешь со мной продавать соки, чтобы знала, как деньги-то достаются, и тебе это было горше и больней, чем все побои, помнишь? Бедная Пышка, всю-то жизнь мечтавшая, как окончит школу и сама выучится на учительницу, но не тут-то было, хоть она и повторяла,

что все-таки рано или поздно получит аттестат зрелости, но в тот год, когда бабка забрала ее из школы, она уж ходила Ванессой, и ничего, кроме дочки, не получила. Одному богу известно, как это бабка умудрилась узнать, что ты согрешила, будто у ней не взгляд был, а прямо рентген, проникал в самое твое нутро и видел все, что там происходит и что за мысли роятся в твоей башке. И как умудрялась ткнуть в самое больное место. Ящерка, к примеру, никогда не забывала, как бабка обкорнала ее ножницами для разделки птицы, узнав однажды, что и Есении случается вечером улизнуть из дому, но не за тем, чтоб попасть на танцы или покататься с мужчинами, как беспутной Пышке, у которой вечно зудело в одном месте, нет, она следовала за мальчишкой, следовала неотступно и следила за каждым его шагом, чтобы накрыть его за дурным, о чем весь поселок толковал, и потом явить во всей красе бабушке, пусть наконец узнает, что это за выродок такой вырос, что за подонок, который когда не пьет, то нюхает и, спотыкаясь, бродит пьяным или обдолбанным по Ла-Матосе, как в тот день, когда Есения встретила его на реке, в тот день, когда поднялась спозаранку и пошла выкупаться на заре и увидела, как он спускается к берегу – босой и без рубашки, волосы всклокочены и спутаны, не волосы прямо, а змеиное гнездо, зрачки расширены, глаза – красные от наркоты и блуждают, и бог знает, что видят, идет и сам с собой разговаривает, как те полоумные, что

иногда появляются на трассе, а в тот раз он шел куда-то вниз, без цели, с этой жестянкой в руках, а руки все черные от сажи и губы растянуты в идиотской улыбочке, тогда и спросил Есению, как, мол, водичка, а она, даже не взглянув на него и разозлившись от нахальства, что позволил себе этот сопляк, посмеив обратиться к ней, отрезала – чистая, после чего двинулась своей дорогой, чувствуя тупую боль где-то внутри, и, пока шла к дому, перебирала в голове все, что хотелось бы ему сказать, все, что накипело у нее на душе за последние три года – и сказала бы, не вынырни он перед нею так внезапно. Тогда они впервые столкнулись лицом к лицу, потому что парень прятался от нее и выходил только под вечер или ночью, как все равно вампир какой, и встречался со своими дружками, такими же паскудниками, как он сам, и они целыми днями пили и кололись и грабили тех, кто неосторожно оказывался в поздний час в городском парке Вильи, а еще устраивали драки на кулаках и бутылками с другими подонками, завсегдатаями пивных, били уличные фонари, мочились на перекрестках, на стены и железные жалюзи, закрывавшие витрины магазинов вокруг парка; парни были все как подбор без дела и без предела, что называется, конченные лоботрясы и паразиты, наркоманы со стажем и с прокуренными мозгами, и хорошо бы их всех засадили за решетку, и там бы излупили, отсношали и вовсе бы в землю вколотили, а мы бы тогда посмотрели, способны ли они на что-

нибудь или только лапать девчонок, а порой и мальчишек, которые сдуру забредают в их владения в городском парке. А полиции, мать ее, будто и невдомек, какие безобразия устраивали они вместе с владельцем отеля «Марбелья» и откуда у них деньги на покупку наркоты, которую потребляют если не прямо там, в парке, где потемнее, то в общественных сортирах, или в придорожных забегаловках, или в заброшенном железнодорожном пакгаузе, где всем известно, кто творит свои свинские дела прямо среди бела дня, как псы какие-то. Есения все это знала не понаслышке, все это видела собственными глазами, у ней и пальцев не хватит на руках и на ногах, чтобы подсчитать, сколько раз приходилось ей вытаскивать сопляка из этих мест, потому что он иногда по суткам не появлялся дома, и она больше не могла обманывать бабуку, тем паче что сволочные Гверасы исправно переносили ей, что говорят об ее внуке в городе, хоть та ничему верить не желала, твердила, что, мол, брехня, никогда мальчик не станет заниматься таким непотребством и вообще он сейчас в Гутьерес де ла Торре, лимоны собирает, а все эти толки, будто он не вылезает из дома Ведьмы – пустые сплетни, чистая клевета завистников, которым делать больше нечего, как злословить из-за угла, и Есения, слушая бабуку, до поры до времени помалкивала, не решалась открыть ей правду о внуке, сказать, что видела собственными глазами все, о чем сообщали Гверасы каждому, кто желал слушать; и о том, что вот тетя Бальби же

все знала наперед с самого начала, с того дня, как бабушка привела в дом сопливого замурзанного мальчонку: из него, сказала тогда Бальби, вырастет второй Маурилио, а может, еще и что похлеще, потому что о дядюшке тоже ходили нехорошие слухи – дескать, совсем опустился, истрепался, живет за счет женщин, в последние годы соглашается за дозу, на этом и поймал он свою болезнь, что высосала его изнутри, но про него, по крайности, хотя бы не говорили, будто он водится с педерастами или что сидит у Ведьмы, и без него не обходится ни одна оргия, которые там устраиваются, Есения же это собственными глазами видела однажды вечером, в тот самый, когда бабка обкорнала ее ножницами и прогнала спать во двор, как собаку, примолвив: да ты и есть собака. И Есения не нуждалась в сплетнях Гверасов: она все увидела самолично и кинулась в дом, чтобы разбудить бабку и рассказать, каким непотребством занимается в этот самый момент ее безгрешный внучек, открыть ей глаза – пусть знает, какую сволочь вырастила она под своим кровом, и перестанет сваливать всю вину на нее, на Есению, потому якобы, что она самая старшая и обязана заботиться о двоюродном братике, а не собирать соседские сплетни, которые люди разносят от нечего делать. Но бабка ей не поверила, посмотрела на нее с яростью – Ящерка, да как у тебя язык повернулся, как совести хватило выдумать такую чудовищную ложь, да ты, верно, с ума спятила или дурмана наелась. Как тебе не стыдно шлаться по ночам да

еще возводить поклеп на братика? Я вот выбью из тебя эту дурь, ты у меня позабудешь, как блудить, тварь такая! И ножницами-секаторами, какими дичь разделявают, стала отхватывать прядь за прядью, а Есения замерла, застыла, как опоссум под светом фар на трассе, боясь, как бы ледяные лезвия не добрались до кожи и мяса, а потом всю ночь провела во дворе, как собака, ведь, по бабкиным словам, она ею и была – мерзкой тварью, чья вонючая шкура недостойна даже блохастого тюфяка. Она тогда долго стряхивала волосы с одежды, утирала катившиеся по щекам слезы, а когда глаза привыкли к темноте, отвязала толстую сизалевую бельевую веревку и стала хлестать ею по стенам дома, пока не посыпалась отсыревшая штукатурка, а потом – по кустам под окнами кухни, пока не сбила с веток всю листву, и хорошо еще, что не попались ей под руку овечки – им бы тоже попало, с нее бы в ту ночь случилось засечь их до смерти или пока не остановят выскочившие на шум сестры, а еще лучше, что проклятый сопляк не вернулся домой, к бабушке, потому что Есения твердо собралась убить его. Всю ночь просидела во тьме у дверей, с тупым мачете в руке, готовясь выскочить навстречу сучонку и застать его врасплох, когда он пойдет по дорожке, пошатываясь и улыбаясь своей гнусной улыбочкой, потому что этой мрази – все шуточки, все повод для веселья, даже удары, приготовленные ему Есенией, даже причитания и слезы бабушки: все это для него гроша ломаного не стоит, потому что он думает только

о себе, да, может, и о себе тоже не думает, наркотики наверняка лишили его способности рассуждать здраво и чувствовать, какие страдания он причиняет всем вокруг – в точности как его сволочной папаша: вот увидите, сказала Бальби, яблочко от яблони недалеко падает, а детеныш тигра рождается полосатым, тогда уж скорей не тигра, поправила Негра, а тигрицы, потому что малец весь в мамочку свою, в потаскуху эту, о которой совсем уж худая слава идет, каких только гадостей не рассказывают, говорят даже, что из-за нее погибло уже семеро, семь водителей из одной транспортной компании, и все – от СПИДа, семь человек или даже восемь, считая дядю Маурилио, если верить толкам и слухам, а хуже всего – что проклятая баба до сих пор жива и здорова, и ничего ей не делается, и вроде бы не хворает и не гниет заживо, даже не подурнела и не иссохла, сохранила прежнюю изобильную пышность, которой и сейчас славится на трассе, куда определил ее когда-то белобрысый парень, вроде бы ее любовник, а его в свое время прислали с севера, чтоб оживил в наших краях наркооборот, вот он и колесит по трассе в пикапчике с затемненными стеклами, с того видео, слушай, ну, с того знаменитого видео, которое все передают с телефона на телефон, где показывают, какие жуткие штуки проделывает этот блондинчик с несчастной девчонкой, почти ребенком: она чуть не при последнем издыхании, едва голову держит то ли от передоза, то ли от болезни, и говорят, эти сволочи похищают девочек, отлавливают их по дороге

к границе, продают в бордели, где те живут хуже рабынь, а когда теряют товарный вид и никому уж не захочется с такой повалиться, режут, как овец, тоже как в том видео, потом разделывают на мясо и продают в придорожные пансионы и мотели, а там его кладут в начинку знаменитых здешних тамалес, вроде тех, что бабка подавала в своем заведении, только, разумеется, у нее они были с бараниной, а не с человечиной, с первосортной бараниной, своей или купленной на рынке в Вилье у доня Чуя, с бараньим мясом, а ни с каким не собачьим, как уверяли завистливые сплетники из этого сраного поселка: этим мразотным тварям наподобие Гверасов-соседей, вечно сующим нос в чужие дела, делать больше нечего, как придумывать всякую чушь, это ведь из-за них бабка допекала Есению, без конца допытывалась, как там ее внучек и женщина, с которой он живет, будто у Есении других забот нет, как только следить за жизнью кузена, будто мало ей обихаживать полоумную бабку, стряпать, стирать, убирать да еще и пестовать малолетних бездельниц, а им хоть кол на голове теши – не слушаются, и пока не дашь подзатыльник, никогда не сделают, что им велят. Если бы не эти соседские сплетни, все бы получилось, все бы вышло именно так, как Есения задумала в тот день, в понедельник первого мая, когда вышла с Ванессой в город, сперва услышав, как Мари, хозяйка галантерейной лавки, рассказывала покупательнице, что в это самое утро, всего несколько часов назад, из оросительного канала возле

сахарного завода выловили Ведьму с перерезанным горлом, а тело-то уже разлагается и все исклевано грифами, и вид до того ужасный, что команданте Ригорито тут же и вывернуло, и Есения, как услышала, прямо остолбенела и никак не могла не думать о том, что было в пятницу, когда она ранорано утром пошла купаться и столкнулась с братцем своим двоюродным, а он, босой и голый до пояса, пошатываясь, шел по тропинке. И еще спросил, бессовестный, как, мол, водичка, Есения же ответила – чистенькая, отвернулась и пошла домой, как ни хотелось ей обматерить его и высказать ему в лицо, в глаза его бесстыжие, сколько несчастий случилось по его вине. О том, что встретила его рано утром у реки, она никому не сказала, а уж бабке и девчонкам – и подавно, как промолчала и о том, что спустя несколько часов снова увидела его, и было это в ту же самую пятницу, но уже после полудня, часа в два или три, когда она стояла у корыта во дворе и стирала только что обмоченные бабкой трусы и рубашку, да, стирала и вдруг услышала шум машины, медленно катившей по дороге, и сумела рассмотреть голубой пикап, голубой или серый, точно не сказать, потому что он был весь в грязи, а водитель, которого все называли Мунра, нынешний муж той самой шлюхи, некогда родившей Есени двоюродного братика, был человек совершенно никчемный, вечно пьяный, и братец разъезжал с ним в этом пикапе туда-сюда. Разумеется, она его узнала, потому что стекла были опущены да и потом такая машина была в поселке

одна, но разглядеть, сидит ли там кто еще, не приехали сучонок к бабке в дом, Есения не смогла. Она даже козырьком приставила ко лбу мокрую руку, всматриваясь, но ничего не высмотрела. Сердце так и трепыхалось в груди от страха и от гнева, с рассвета не дававших ей покоя. Страх – что сучонок захочет войти в дом и переволнует бабушку, а гнева – от всех тех страданий, которые он причинил старухе, уйдя из дому. Она оставила белье в корыте и пошла к дороге, не сводя глаз с автомобиля, и с ужасом увидела, что он остановился метрах в двухстах, почти напротив дома Ведьмы. От беспощадного солнца глаза у Есении заслезились, однако она ни на миг не сводила их с машины, не сомневаясь, что вот сейчас непременно вылезет оттуда сучонок, но через несколько минут бабушка в спальне начала стонать, и Есении пришлось подойти к ней, больше-то в доме никого не было: сестрички скоро уж должны были вернуться из школы, если только, как обычно, по дороге не застрянут, гулёны, где-нибудь. По этой причине Есения вышла во двор не сразу, но, убедившись, что пикап стоит на прежнем месте, успокоилась немного и начала выжимать белье, оставленное в корыте, и время от времени беглым взглядом обводила дорогу. Собралась было развесить его на веревке, но тут увидела, как рывком распахнулась дверь в Ведьмином доме, и оттуда выскочили двое, за руки и за ноги таща с собой третьего, словно он был мертвецки пьян или в обмороке. Один из этих парней и был ее двоюродный братец, Маурилио

Камарго Крус или Луис Мигель, а сокращенно – Луисми, и Есения была в этом совершенно уверена, голову на отсечение, что это он, паскудник, да ей ли не узнать, если растила его чуть не с младенчества, ни с кем не спутаешь и за десять километров разглядишь эту спутанную гриву, и еще Есения точно знала, что тащили они Ведьму – видно было и по размеру этого тела, и по черному одеянию, которое та носила, сколько Есения себя помнила. И другого она тоже узнала – это был один из тех бездельников из их шайки, собиравшейся в парке, имени его она не знала и клички тоже, а ростом он был с Луисми, примерно метр семьдесят, и тоже тощий и хилый, только волосы черные и острижены коротко и с таким хохлом по нынешней моде. Все это она изложила полицейским, с неохотой выслушавшим ее в понедельник первого мая, а потом пришлось показания повторить в кабинете следователя прокуратуры: сообщить полное имя кузена и где проживает, все, что люди рассказывали про сучонка этого, и все, что своими глазами видела и в полдень пятницы, и в ту ночь, когда незаметно прокралась за ним до самого Ведьминого дома, и про все его безобразные выходки, в которые бабка не поверила, когда Есения разбудила ее и все ей изложила, чтоб имела представление, какое же дерьмо ее внучек, но старуха так и не поверила, старуха сказала, мол, все это она сама выдумала, потому что у нее мысли грязные, одно непотребство у нее на уме, и, мол, она сама ночью удрала из дому бог знает

для какого свинства, а потом за волосы приволокла ее на кухню, а там схватила огромные ножницы, какими птицу разделывают, и Есения подумала, что бабка сейчас вонзит ей острия в горло, и зажмурилась, чтоб не видеть, как закапает кровь на пол, а потом почувствовала, как под лезвиями закрипели срезаемые пряди волос – волос, которые она так холила, единственную ее красоту, единственное, что ей в себе нравилось, черных, густых, гладких волос, и кузины отчаянно завидовали ей, потому что у нее они были прямые и красивые, как у актрис в сериалах, а у них у всех, как у бабки, жесткие и редкие, черные и курчавые, не волосы, а овечья шерсть, и даже зеленоглазая тетя Бальби, гордившаяся, что в ней есть доля итальянской крови, не могла похвастаться такими волосами, которые у одной только Есени-Ящерки, самой из всех некрасивой, неказистой и смуглой, шелковистым каскадом падали на плечи, лились иссиня-черным бархатным водопадом, и их-то в ту ночь отчекрыжила ножницами бабка, обскубала, как больную в сумасшедшем доме, остригла для примера и вразумления, чтоб неповадно было удирать из дому искать мужчин, и вот по этой-то красоте плакала Есения, стряхивая волосы с платья, а потом схватила бельевую сизалевую веревку и ну хлестать по стенам и по кустам под окном, пока не сделались они такими же голыми, как ее голова. В эти минуты она уж не плакала ни от горя, ни от ярости, хоть и слышала, как причитает в своей каморке бабка по внуку, и

каждое рыдание, каждый всхлип и стон ледяным клинком вонзались в сердце Есении. Это поганец во всем виноват, думала она, этот сучонок доконает бабку, а ведь та худо ли, бедно заменила Есении мать, особенно после того, как Негра и Бальби перестали присылать деньги и, кажется, даже думать о своих дочках забыли. Эта сволочь должна умереть, думала она, и готова была пришибить его. Дождаться в темном патио, когда на рассвете, как всегда, он явится и попытается проскользнуть в дом, и этим вот ржавым мачете, найденным под корытом, этим вот тупым, заскорузлым от грязи лезвием искромсать ему рожу и шею, приговаривая – доигрался, мразь, вот теперь, сволочь ты поганая, не будешь больше издеваться над бабкой, а потом вырыть в глубине патио яму и там его похоронить, а захочет бабка заявить на нее, она даст забрать себя в полицию с удовольствием, с чувством исполненного долга, с сознанием того, что избавила старуху от этого мерзавца. Однако сучонок так и не пришел ни в эту ночь, ни в следующую, не пришел ни через неделю, ни через месяц. Никогда больше не появлялся он в отчем доме хотя бы, чтоб собрать свои вещички, не говоря уж о том, чтоб проститься с бабкой, спасибо ей сказать за все, что она с самого начала делала для него, и если бы не Гверасы, вообще бы не узналось, что сучонок поселился у своей мамыши, и бабке, огорошенной новостью, стало дурно от того, что парень предпочел жить у этой потаскухи, не оставившей свое гнусное ремесло, а не у нее, растившей

его как собственного сына, и до того была потрясена этим известием, что через две недели ее хватил удар и наполовину парализовало, а потом, через год, она упала в ванной и подняться уже не смогла, и один бог знает, как приняла бы она весть о том, что сучонок совершил убийство и что его собираются засадить, но можно не сомневаться, что наверняка захотела бы навестить его в тюрьме, передать ему еды, денег и курева, как когда-то – дядюшке Маурилио; разумеется, приказала бы Есении помочь одеться и вызвать такси, чтоб доставило ее в Вилью, как будто это пустячное дело – прокатиться на такси до городской тюрьмы и обратно, при том что бедная старуха была уверена, что ей хватит сил дойти до машины, хотя она уже два года не вставала с кровати, чему доказательство – появившиеся на спине и ягодицах пролежни. Нет, бабка ни в коем случае не должна была знать, что сучонок совершил убийство, и уж давно – что это Есения, как услышала болтовню хозяйки галантерейной лавки и, ошарашенная, простояла несколько минут в растерянности и оцепенении, думая, что же будет, если она сообщит властям все, что видела в пятницу утром и в полдень, все же самолично донесла на него в полицию: в понедельник первого мая отправилась туда и сообщила полное его имя и адрес, чтобы задержали без промедления, а еще думала о том, как сильна ее ненависть к сучонку, как велико желание засадить его в каталажку, а Ванесса смотрела на тетку в испуге, видя, что она сама не своя. В

дом ступай, наконец велела ей Есения. Марш домой сию же минуту и скажи матери и теткам, чтоб заперлись и никого не впускали – никого, поняла? И особенно – Гверасов, черт знает как эти сволочные бабы проводят обо всем, можно подумать, у них антенны какие-то или водятся, твари, с нечистой силой, ведь они же рассказали все бабке, хоть и знали, что ей становится хуже от каждого известия о мальчишке, как им сердце-то не подсказало, когда явились и доложили, так и так, он в тюрьге и обвиняется в убийстве Ведьмы. Им и в голову не могло прийти, что донесла на него Есения, так ведь? Так каким манером бабка догадалась, что она, Ящерка, приложила к этому руку? Всего-то и поглядела ей в глаза, когда Есения в слезах склонилась над ней узнать, как она себя чувствует, а было уже довольно поздно, потому что полицейские хмыри повезли ее в прокуратуру, а там долбаная секретарша целый год, кажется, выстукивала на компьютере ее заявление и давала ей подписать его, так что лишь к ночи смогла она вернуться в Ла-Матосу, и еще на подходе, увидев свет в окнах, поняла – стряслось что-то ужасное, и, вбежав в бабкину спальню, увидела, что та скорчилась на кровати, рот открыт, будто в замерзшем крике, а глаза неподвижно уставлены в потолок, и тут Пышка с перевернутым лицом рассказала, как было дело: несколько часов назад у бабки случился еще один удар, а случился он после того, как соседки, навещая ее днем, рассказали, мерзавки, что якобы полиция арестовала ее

внучка́ по обвинению в том, что он убил Ведьму, а тело сбросил в канал, и Есению так и подмывало со всей силы треснуть Пышку за беспечность. Какого же хрена она впустила старых паскуд в дом, если Ванессе ясно было сказано – запереться и сидеть тихо, никого не впускать, а особенно – Гверасов? И только тогда, обеда взглядом смущенные лица стоявших у бабкиной кровати, поняла Есения, что здесь нет Ванессы, а потому нет, что эта распутная сучка воспользовалась случаем и побежала на свидание со своим патлатым обкуренным парнем, который вечно крутился у школы, и ничего другого не оставалось Есении, как выйти из бабкиной комнаты, переступить порог дома, дойти до Гверасов и забарабанить в дверь кулаками и ногами, крича – зачем же вы, твари гнусные, явились к бабке со своими мерзкими рассказами, кто вас за язык ваш поганый тянул, сучье племя, раз уж нельзя было излупить Пышку за то, что родила эту безмозглую мокрощелку, неспособную выполнить простейший приказ. Гверасы, само собой, с ума не сошли еще, не осмелились не то что дверь открыть, а и в окно выглянуть, ибо знали, что если поведут себя дерзко, гостья способна и стены разнести, так что даже не решались зажечь свечи у образа Пречистой, пока, устав орать, Есения не вернулась домой, где в окружении кузин и племянников стала ждать возвращения Крошки, поехавшей в Вилью за доктором, и соплячки Ванессы, которую Есения уже поклялась отстегать мокрой веревкой,

вот пусть только ступит, мерзавка, на порог, бабка же тяжело дышала, цепляясь за жизнь, а говорить уже не могла и по-прежнему неотрывно смотрела в потолок и отвела глаза лишь на тот жуткий миг, когда Есения прижала ее голову к груди, стала гладить ее жесткие седые волосы и повторять – все хорошо, все хорошо и будет хорошо, вот скоро доктор придет и поможет, надо еще чуточку потерпеть, подождать, держаться ради нее, Ящерки, ради внучек своих, и тут язык у нее присох к небу, потому что бабка вдруг отвела взгляд с потолка и вонзила затуманенные зрачки в глаза Есении, и та поняла – одному богу известно, как, – что бабка смотрит на нее, словно читает ее мысли, а потому знает, что она натворила, знает, что это она заложила ее внучку, донесла на него в полицию Вильи, указала даже, где он живет, чтоб искать не надо было, а просто бы пришли и забрали его. И, все глубже погружаясь в разгоравшиеся гневом глаза, понимала Есения, что бабка ненавидит ее всей душой, и в этот самый миг проклиная ее, и тоненьким голоском хотела попросить прощенья, объяснить, что все это – ради ее же блага, однако было уже слишком поздно: бабка в очередной раз сумела попасть ей в самое больное место, потому что в этот самый миг, дрожа от ненависти в объятиях старшей своей внучки, – умерла.

Правда, правда, правда, он правда ничего не видел, памятью матерью, мир ее праху, и всем святым клянется, что ничего не видел; он даже не знал, что эти сволочи там натворили, потому что ему без посторонней помощи не вылезти из машины, тем паче что сучонок велел ему оставаться за рулем, мотор не глушить и с места не трогаться, дело минутное – так, во всяком случае, понял Мунра, а больше он ничего не знает, не помнит, он и не вылез, не выглянул из полуоткрытой двери и даже в зеркало заднего вида не посмотрел, хотя искушение было сильное, но страх возобладал. Потому что небо почернело, заволокло тучами, и налетевший внезапно ветер погнал их к предгорьям, хлеща заросли тростника и пригибая его к земле, и он подумал, что сейчас и польет, наверно, и очень ясно увидел, как в темных тучах вдруг сверкнула беззвучная зарница, сверкнула, и, ударив в дерево, сожгла его в полнейшей тишине, в безмолвии столь плотном, что на миг ему показалось, будто он оглох, потому что слышал только глуховатый звон в голове, и ребятам пришлось встряхнуть его, чтоб очнулся, и тогда лишь он убедился, что не оглох и слышит, как они кричат – газу, газу, давай же, колченогий, так тебя и так, втопи педаль до полу, чтоб рвануть отсюда как можно скорей, домчать до водомоины, ведущей к реке, обогнуть Плайя де Вакас и ворваться в Вилью

со стороны кладбища, пересечь город по главному проспекту, благо там один-единственный светофор, и выскочить на трассу в сторону Ла-Матосы, и все это время думать, как же хорошо будет добраться до дому и лечь в постель с бутылкой водки и пить до отруба, пока не забудешь все, все, и то, что Чабелы нет уже несколько дней, и то, как в свете фар еще гуще и плотней казалась окружающая их тьма, в которой неслись они на полной скорости, и то, как пересмеивались, перебрасывались непонятными ему шуточками парни в его пикапе, и когда наконец растянулся на своей койке, захотелось принять ту же таблеточку, что глотал Луисми, потому что, чуть лишь закроешь глаза и начнешь приманивать к себе сон, начинается дрожь во всем теле, желудок сводит, и кажется, что кровать исчезла, а он висит над бездной и вот-вот рухнет в нее, и тогда он открывал глаза, ворочался с боку на бок, силясь уснуть, но снова кружилась голова, и тогда он пытался дозвониться Чабеле, но тщетно, и так – всю ночь, и даже подумал, не выйти ли в патио, не пересечь ли его, не попросить ли у Луисми его таблеточку, может, тогда удастся проспать до полудня, однако знал, что без костыля да в темноте ему через патио не пройти, до комнаты сучонка не добраться, так что он смирился и продолжал вертеться на кровати и наконец погрузился в неглубокий и беспокойный сон, пока в отдалении не загорланили петухи и за окном не появилось солнце. Вставать не хотелось, но терпеть больше жару, стоявшую в комнате, собственную вонь и пустоту в

постели, которую делил с Чабелой, стало невыносимо, и потому он поднялся уж как мог на ноги и, хватаясь за мебель, держась за стены, вышел в патио справить нужду и умыться, и черт его знает, сколько времени было, однако сучонок пока не подавал признаков жизни, да и потом бы не подал, Мунра сумел со двора разглядеть, что он валяется на своем матрасе, занимавшем чуть не всю комнату – мой домик, как говорил сучонок, – что пасть у него разинута, а веки отекли так, словно ему подбили оба глаза. Судя по количеству таблеток, которыми он закинулся накануне, до завтра ему нипочем не встать – ну, так оно и вышло: вечером в воскресенье Мунра увидел, как сучонок, шатаясь, пересек патио и выбрался на дорогу, ведущую на трассу, где наверняка постарается раздобыть денег и купить еще своих поганых *колес*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.